

Максим Осипов

пгт Вечность

записки завлита

Память на лица у меня отвратительная, пациентов я запоминаю с трудом. С первого раза — почти никогда, особенно тех, кто приходят, что называется, так, провериться, или, хуже того, — за бумажками: курортную карту оформить, подписать направление на ВТЭК. Последним отказываю безжалостно: дашь слаби-ну — и получишь под дверью кучу просителей. Мы делом тут занимаемся, медицина — не сфера обслуживания. А втэки и мсэки ваши — сплошная коррупция. Вы ведь не умеете взятки давать? Впрочем, меня это не касается.

Однако Александра Ивановича Ивлева, автора тех заметок, которые вам предстоит читать, я и запомнил, и прогонять не стал. Он подошел ко мне в коридоре, обратился: «доктор» или по имени-отчеству, но в этом были такое достоинство и одновременно отсутствие вызова, какие редко встретишь в наших краях. Я позвал его в кабинет.

Во внешности старика, во всей фигуре, походке, манере держать себя проглядывало нечто особенное, я бы сказал — птичье. Прямая спина, пальцы тонкие, длинные, глаза светлые, почти что бесцветные, не водянистые, а словно прозрачные, большой острый нос. Но нет, демонизма в Александре Ивановиче и в помине не было, напротив — что-то мальчишеское, веселое, готовность к улыбке, к приятному разговору безо всяких, как это бывает в больнице, над-рыва, истерики — коллеги поймут меня. И одет он был небанально, со вкусом, как выяснилось — артистическим, но помните, кто был во что одет, об этом рас-сказывать — за это я не берусь.

Усадил его перед собой, перелистал бумаги:

— Как поживаете, Александр Иванович?

— В соответствии с возрастом и социальным положением. — Вот это ответ!

Был когда-то завлитом — заведующим литературной частью театра. У нас в городе («Слава Богу», — так он сказал) театра нет, да и Александр Иванович давно уж пенсионер. Обратиться ко мне заставил его грустный повод: оформление бумаг в дом-интернат для инвалидов и престарелых.

— Для ветеранов. Мы называем себя ветеранами. Не знаю чего. Простите, что отвлекаю вас.

Какие могут быть противопоказания для богадельни, как ее ни зови? Подписать, печати поставить — и отпустить. Я все же решил посмотреть его — сделать для симпатичного человека что-то хорошее. А что я могу? — посмотреть.

Медсестра помогла ему влезть на кушетку, тут я только заметил, что физические усилия даются Александру Ивановичу с трудом.

Открою секрет: нам свойственны оживление, почти радость при встрече с серьезной и редкой болезнью, особенно если впервые ее обнаружили именно мы, если она излечима или не относится напрямую к нашей специальности — есть возможность явить наблюдательность, кругозор. В случае с бедным Александром Ивановичем я, однако, восторга не испытал. Не потому, что он был здоров (вовсе нет), а потому, что за недолгое наше знакомство старик успел мне понравиться. А находить болезни, пускай и излечимые, у добрых знакомых — нет, это не доставляет радости. Да и как одинокому пенсионеру справиться с нашей системой так называемой высокотехнологической помощи? — ведь не от счастливой семейной жизни и материального благополучия замыслил он переселиться в дом престарелых, которых так мило зовет ветеранами.

Медицинскую составляющую истории я, разумеется, опущу.

— Операция так операция. — Александр Иванович принял известие о своем диагнозе с редким спокойствием. — Сколько, по вашему мнению, осталось мне без нее?

Год, я сказал — год. В лучшем случае. И это не будет хороший год. Воздух нужнее еды, воды.

Я умею людей уговаривать, некоторые считают меня даже деспотом. Слишком сильное определение — все от мотивов зависит, не правда ли? Но Александра Ивановича оказалось несложно уговорить. Итак: надо ехать в Москву (вот адрес), предварительно созвонившись (я оставлю ему телефон), получить заключение профессора, который и будет его оперировать, затем в область, за квотой, а если вдруг не дадут, то звонить мне, немедленно, номер сверху, на заключении. — В квотном отделе хорошо помогает слово «прокуратура», запомните? — он кивнул, неуверенно — дальше через полмесяца-месяц, от силы два, его вызовут, а потом, когда все закончится, — снова сюда.

Не очень это, прямо скажем, работает, особенно у пожилых, но есть у нас и удачный опыт, необходимо пробовать. Прощание получилось скомканным, я ему, по-моему, даже не протянул руки: меня уже ожидал следующий.

Вечером наводил порядок, тетрадку нашел, обернутую в целлофан. Его, Александра Ивановича. Что-то личное. Позвонить? Медсестра говорит: у него и телефона-то нет, ни городского, ни сотового. Ничего — вспомнит, придет. Сунул тетрадку в ящик стола: вот где у меня бардак так бардак.

Возможно, теперь я подверстываю впечатления о манерах и внешности Александра Ивановича к тому, что узнал из его — как угодно — повести, дневниковых записей, концы с концами свожу, а тогда: клиент и клиент. Приятный. Наше дело болезни лечить, зарабатывать, беспокоиться о семье, не будем идеализировать профессию: да, хорошая, возможно, лучшая, но — профессия, со своими рамками. В жизни больных мы должны играть как можно меньшую роль. Все-таки через пару недель вспомнил: что там наш Александр Иванович? Положили? Прооперирован? Позвонил в Москву: как там наш старичок? Нет, он до них не доехал. Или не произвел впечатления. Ни тяжестью состояния, ни уровнем личности. — Дедок, запущенный? — Нет, сохраннный, вполне себе. Да не такой уж и дед. — Кто-то был от вас. Женщина. Никаких журналов, никаких записей. — Верно, я и женщину направлял. Спросил заодно о женщине. — Ладно, давай, — говорят, — присылай своего старичка.

В область звонить — дело пустое, да и противное. Не сам, медсестру попросил. «Ничем не можем помочь», — что и требовалось доказать. В доме для престарелых Александра Ивановича не обнаружилось, звонков на «скорую» не поступало, через морг наш он тоже не проходил.

Хорошо: телефона нет, но ведь адрес имеется. Город у нас небольшой. Пусть и несколько вычурно — заявляться к своим пациентам без вызова, но я к нему зарулил.

Не дом — полдома, вход общий. В дверях мужчина. Обычный местный, мало запоминающийся. Говорю ему что-то быстрое, не очень членораздельное, но с нажимом, с уверенностью. Никто не слушает, что именно говорят, важен тон.

— Сейчас. Спрошу у мамуленьки.

Я уже выучил: у мамуленьки — у жены.

Толкаю дверь на половину Александра Ивановича. Странно, не заперта. Судя по всему, соседи начали пользоваться его территорией. Сказать, что он небогато живет (жил), — ничего не сказать. Сейчас многим трудно. Но у нас еще можно справиться: низкий уровень жизни, провинция.

Приходит жена, их теперь двое, и уже в них заметна агрессия. Оба толстые, неухоженные, и пахнет нехорошо. Я объясняю, зачем пришел, — нет, они мне не могут помочь.

— Что за банки? Его? Александра Ивановича?

— Наши, — отвечает жена. — Уберем.

Сосед их уехал.

— Куда? Когда?

— А он нам докладывает?

Типичная ситуация: при всей бесцеремонности эта парочка — очевидно, из тех, кто простое внимание к ближнему считают чуть ли не оскорблением для себя. Опора режима. Это я так, в сторону.

Вечером пришло в голову: а вдруг они убили моего Александра Ивановича? А что? Вид у этого толстяка с мамуленькой такой был, хозяйственный. И фамилия подходящая: Крутовы. Убили, труп спрятали или зарыли где-нибудь, теперь пользуются его комнатой. Не только в Москве, но и тут у нас стало мало необычных людей, чудаков. Во времена моей молодости их было значительно больше, куда они делись все? А туда и делись: не выдержали конкурентной борьбы.

Поделился своими мыслями с начальником здешней полиции.

— Крутовы? Нет, — говорит, — не думаю. Сейчас ведь не девяностые.

Странная логика.

— Но если надо, — сказал, — проверим. — Выразился: — Прессанем.

— Давайте только, чтоб всё по закону.

Обиделся:

— Когда у нас было не по закону-то?

Ну, вам видней.

Тут уже вспомнил и про тетрадочку. Почитал. Если и вы почитаете, то вам, вероятно, станет понятней настойчивость моих розысков.

К Макееву (о Владилене Макееве, местном писателе, вы узнаете из записок) я обращаться напрямую не стал, попросил соседку-художницу, этнически безукоризненно русскую. Макеев тоже, естественно, не помог.

Прошло еще несколько месяцев ожидания и бессистемных поисков со звонками во всякие неприятные учреждения — областные, московские, федеральные — куда только я не звонил. Делалось все ясней, что Александра Ивановича нет в живых.

Перед тем как вы приступите к чтению, несколько слов о бомбардировке города, которую — как говорят: осуществил, провел? — Верховный главнокомандующий. Мне не удалось обнаружить прямых подтверждений воздушной

атаки на Вечность — того происшествия, о котором рассказывает Александр Иванович, зато я наткнулся на сведения о разбомблении дома культуры в аналогичном городе. Назывался он Мертвой рекой, или Долиной мертвой реки, в переводе с ненецкого, и тоже был расположен на Крайнем Севере.

«Дом культуры заброшенного поселка подвергся бомбардировке стратегической авиации, — сообщают новостные агентства. — По объекту поселка группа бомбардировщиков провела испытания новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия. На борту одного из самолетов находился Верховный главнокомандующий...» — и так далее.

Не стоит труда отыскать подробности: «Руководитель района в момент запуска находился на полигоне. По свидетельству градоначальника, первая ракета пролетела немного выше цели, зато следующие прошли здание насквозь. — Президент дал нам двадцать минут на то, чтобы спрятаться, — улыбается наш собеседник. — Мы нашли еще горячие куски ракет. Удивительная техника и удивительное попадание, — констатировал мэр».

В сети имеется фильм, посвященный этим событиям. Вылет с военного аэродрома, дозаправка в воздухе, запуск ракет, возвращение. «Судя по выражению лица Главнокомандующего, он остался доволен», — произносит закадровый голос.

— Как про животное, — с обидой сказала моя медсестра: я показал ей фильм.

Повторюсь: прямых подтверждений тому, что описывает Александр Иванович, я не нашел. Но испытания крылатых ракет происходят и будут происходить. А поселки с названием Вечность на карте есть. И не только Вечность — и Счастье, и Верность, и Мужество.

У читателей неизбежно возникнут вопросы. Мог ли стать главой района человек, совершивший убийство? Или: откуда взята строка про мост Мирабо и Оку? Отвечу: толком не знаю ни современной практики назначения руководителей, ни современной поэзии, однако едва ли Александр Иванович что-нибудь путал или выдумывал.

Остались вопросы и у меня. Не следовало ли положить его в отделение? Но если госпитализировать не по медицинским, а по человеческим показаниям, из личной симпатии, — к чему это приведет? Больших операций у нас не делают, а иным способом было здесь не помочь. И еще: почему он хотел, чтобы именно мне досталась тетрадоочка? Потерял, забыл? Судя по многочисленным вставкам и исправлениям, Александр Иванович дорожил заметками. Что он знал обо мне, о чем собирался предупредить? Об опасности увлечения театром? — но я театры и так обхожу стороной.

С исчезновения автора прошел год. Я и давал ему жизни от силы год и не мог ошибиться в диагнозе. Насколько я понял закон, Александр Иванович может быть уже признан безвестно отсутствующим, а, значит, пора отдавать его повесть в печать. Если он вопреки ожиданиям жив, то наверное не рассердится: мужчины редко ведут записи «для себя», да и повествовательная манера Александра Ивановича предполагает читателя. Сам я только добавил названия глав, в рукописи их не было.

Такая фантазия: а ну как Александр Иванович прооперирован и живет, например, в Германии или той же Америке и теперь отыщется благодаря публикации? Это будет прекрасно и само по себе, и даст ему шанс прославиться (по отвратительному макеевскому выражению, «прогреметь»). С удовольствием перечислю ему гонорар. Заодно и в предисловиях-послесловиях моих отпадет нужда.

Имена я менять не стал.

ВИНОГРАД

— «А ведь, верно, было мне назначение высокое...» Мужчины всегда себе что-то выдумывают. Вот вы, Александр Иванович, так и мечтали — завлитом стать? — спрашивает меня Любочка.

Любочка Швальбе — одна их тех, по кому буду до конца своей жизни скучать. Швальбе — «ласточка» в переводе с немецкого. Она берет с подноса большое зеленое яблоко, надавливает на него указательным пальцем:

— Настоящее, — и откусывает.

— Любка, ты что творишь?! — вскрикивает завреквизитом. — Ты мне sloпaешь весь реквизит! В следующий раз получишь пластмассовое.

— Простите, Валентина Генриховна, что разговариваю с набитым ртом. Яблоки, к вашему сведению, служат источником витамина Е.

Валентина Генриховна машет рукой:

— Да у тебя этого самого витамина...

Валентина Генриховна работает в театре почти столько же, сколько я. Изумительный человек: реквизитом заведует и вдобавок буфетчица. Без нее мы бы все — и артисты, и осветители, и так далее, включая администрацию, умерли с голоду. А потом, тут и вправду не водится яблок таких.

— Видите, Александр Иванович, исходящий реквизит на мне экономят, — жалобно произносит Люба, когда мы опять остаемся вдвоем. — Так вы обещали мне рассказать...

Радуюсь, когда у нее разговорчивое настроение. Кем я стать хотел? Нет, не завлитом, конечно же. Я о другом мечтал. Но — никаких обид.

Люба вскакивает:

— Ой, меня Слава зовет! Александр Иванович, отчего вы не пишете? Напишите, пожалуйста! Обещаете? — уже с лестницы.

Такое воспоминание, давнишнее.

А вот свежее. Здешний товарищ мой, Макеев Владилен Нилович, член Союза писателей, еще со старых времен:

— Давайте, — предлагает, — сделаем про вашу жизнь материал. Для газеты «Октябрь». Пишите что придет в голову, а я подключусь. Дарю вам название: «Родом из Вечности».

Макеев неплохой человек, хоть и со своим, что называется, пунктиком. Признался, что его не Владиленом зовут. По паспорту он Владлен.

— Простовато, согласны? Владилен интереснее.

Я почти ежедневно гуляю с Макеевым. Мне-то что? — я на пенсии, не работаю, у меня времени невпроворот, а Владилену Ниловичу удивляюсь: когда он глыбы свои успевает изготавливать? В прошлом месяце принес рукопись: «Ни сном, ни духом» — тысяча двести страниц, роман. Обижается, что я еще не прочел:

— Меня не читаете, так пишите свое. Давайте, все по порядку. Пройдемся потом по тексту, подредактируем. Обожаю воспоминания незначимых людей. В «Октябре» не хотите — разместим в центральном издании. На федеральном уровне можете прогреметь. Хорошее, между прочим, название: «Родом из Вечности».

Родом я вообще-то из-под Челябинска. Но почему, в конце концов, не попробовать? Ведь был зачем-то кусочек мира мне приоткрыт. Ненадолго, маленький, но ведь был же, был!

Городок под Челябинском. Даже не городок, а просто — завод, почти в чистом поле. И возле — клетушки-вагончики-домики. Тут школа, а там медпункт,

общежитие женское, поменьше клетушка — мужское. Сюда, на Урал, свозили разных людей — из Ленинграда, из Минска, из Киева. Эвакуировали целыми институтами: не наладите к осени выпуск продукции, пеняйте, мол, на себя. Никто не в претензии, надо так надо — война. И про то, вредное производство или невредное, тоже, конечно, не думали.

Я ее и не помню почти что, войну, да она и скоро закончилась, только мы с Урала съезжать не спешим: ехать особенно некуда. Прижиться можно везде, так говорила мама, — я в нее в этом смысле пошел. Мы живем с двумя ее сестрами в общежитии — женщины меня не стесняются, они и дальше меня не особо стеснялись, не знаю уж почему.

Школа. Тут и вспомнить особенно нечего, но ведь и я обещал не про всю мою жизнь рассказать, а только кусочками. Мама просила учить побольше стихов: никакой дополнительной тяжести, их всюду с собою можно возить. Маме часто случалось переезжать.

Было мне лет одиннадцать, и ужасно хотел я иметь одну вещь — микроскоп. Такая вот тяга к невидимому. От телескопа я тоже, наверное, не отказался бы, но мечта была — микроскоп.

Как-то раз меня мама в Челябинск взяла. Комиссионка, мама копается в разных вещах, и вдруг я не верю глазам: под стеклом, на прилавке — он! Мама, мама, сюда! Помню отчетливо: небольшой такой микроскопчик и к нему картонка приделана, а на ней черной тушью — четыреста. Мама грустно глядит: вот обещали нам премию... Только очень уж неуверенно у нее получилось это сказать. И взяла меня мама за руку, и мы вышли, и я ничего у нее не просил. Так ведь и она мне не отказала. И ходили мы по каким-то ее делам, но такой у меня, вероятно, был вид расстроенный, что решила она меня отвести в театр.

Кому кого жальче было — маме меня или наоборот? Честное слово, не помню, ни как назывался театр, ни что они ставили. Сказку какую-то. Мы сидим в темноте, я размышляю про микроскоп, и вот тут... Вроде, и ничего особенного: артист кладет себе в рот виноградину — должно быть, ненастоящую, откуда у нас на Урале такой виноград? — и глядит он, артист, на меня, и лицо его принимает выражение блаженства, самого натурального. И я чувствую, как у меня становится сладко во рту. Ничего, мне кажется, и не пробовал в жизни вкуснее, чем тот виноград. А артист руки свои об штаны вытирает, меня мама всегда просила не делать так. От виноградного сока руки стали у него липкие, и даже, когда он выходит кланяться, то продолжает их вытирать. Уже не играет, не притворяется! Мама, ты видела? Решено: буду артистом, не нужен мне микроскоп.

Мама смеется: а ты упрямылся, не хотел учиться выговаривать букву «р». Всю дорогу домой мы веселимся с ней: «На горе Арарат растет крупный виноград». А назавтра она мне книжку приносит: «Борис Годунов и другие драматические произведения».

Первые страницы оторваны, так что «Годунов» начинается с места в карьер: «Нечисто, князь». Очень мне такое начало понравилось, и я бегал по общежитию между веревок с бельем, кричал: «Нечисто, князь! Князь, нечисто!» — женщин пугал.

— Случалось ли вам заглядывать в бездну, Александр Иванович? — поднимают на меня Любочка большие свои глаза.

Зачем ты спрашиваешь, моя милая, да еще с таким выражением? Чуть не сказал: как у провинциальных актрис. Пожалуй, обидится. Уж кого-кого, а Любочку-ласточку не хотелось бы обижать. Нет, про пучину страстей и прочее я знаю больше по литературным источникам. Хотя ведь женат даже был, еле ноги унес. Из-за женитьбы и очутился в Вечности.

— Ой, расскажите, пожалуйста.

Сон это был какой-то — семейная жизнь моя. Как приснился, так и приснился, к чему сны рассказывать?

— Вы веселый, — вздыхает Любочка. — И жили, наверное, правильно. Смолоду.

Смолоду... Нет, смолоду я только и делал, что в театральные училища поступал.

— Получается, не судьба. — Это Слава наш, Славочка Воробьев, любимец актрис и публики. Наш Гамлет, Эдип, Дон Гуан.

Нехорошо подслушивать, Славочка. Хотя ты, конечно же, прав.

Артисты расходятся после утренней репетиции, мы с Любой снова вдвоем. Она смотрит на дверь, в которую вышел Славочка:

— Александр Иванович, голубчик, что делать мне?

Я и не понял тогда, почему она спрашивает.

Ладно, обо всем по порядку, как Макеев учил. Пединститут, специальность — русский язык и литература, распределили в школу рабочей молодежи, в ШРМ. В армии не служил: на медкомиссии шум обнаружили. Восемь раз поступал в театральное. Не поступил. Успел и жениться, и теток похоронил, а за ними и мамочку — быстро, в одночасье, она умерла.

И вот мне уже тридцать три, русский язык преподаю «шаромыгам» (так они сами себя называют, шутя), я женат, у жены имя редкое — Аглая, Глашенька, учительница немецкого, школа выделила нам комнату, соседи тихие. Лето, каникулы, я на кухне сижу, газету просматриваю — «Правду» у нас коммунисты выписывали, мы получали «Известия». А в комнате моя Глашенька одевается, прихорашивается. И не очень уже старается скрыть, что есть у нее, как говорится, кто-то еще, да и мне не хочется жизни ее мешать, тем более — скандалы устраивать, разоблачения. Правильно сделали, что не взяли меня в артисты: нет сценического темперамента. Это я понимаю теперь, а тогда...

Тогда сидел над газетой и стынущим чаем, а в газете было написано, что на далеком севере есть шахтерский поселок городского типа с названием Вечность, здесь добывают редкие породы угля. И что созданы все условия — баня, амбулатория и даже — за Полярным кругом! — разбит небольшой парк. А недавно, пишут «Известия», в поселок пришла культура. Распахнула свои двери библиотека, построен театр: для столь небольшого территориального образования, как Вечность, — поистине уникальный объект. Театр расписан в подробностях: карманы, колосники, поворотный круг — наверное, корреспондента тоже не приняли в театральное.

Ушла жена моя на свидание, взял я листок, пишу: хотел бы у вас работать, не нужен ли вам завлит? Образование имею соответствующее, филологическое, женат, не судим, готов предоставить характеристику. Адрес: Северогорский район, пгт Вечность, театр.

К удивлению моему, а еще большему — Глашенькиному, мне ответили, телеграммой: приезжайте, ждем. Ясно было без слов, что в эту самую Вечность я отправляюсь один. А жена оглядится, подумает... Спустя несколько месяцев документы мне выслала — не она, нотариус — на развод. Могла б и сама, наверное, но очень уж писем она не любила писать. Я не в обиде был.

До сих пор — закрываю глаза и вижу: двух-, трехэтажные здания, если бы не река — все ровное, симметричное, река придавала разнообразие, хоть она и во льду была с сентября по май. Почта, сберкасса, крохотный рыночек, одноколейка, вокзал. Теперь, наверное, только шпалы остались без рельс, а тогда —

поезда ходили: с углем и обычные, пассажирские. Что еще? Карусели, тир. Небольшой памятник, возле — худенькие деревья: тот самый парк, о котором писали «Известия». Вот что летом солнце не заходит за горизонт, было, конечно же, удивительно. Но привыкаешь потом. Как и к тому, что вовсе оно не показывается с конца ноября по февраль.

Поселился я прямо в театре, в мансарде, над сценой, чуть позади нее. Комната угловая, окна на две стороны. Помещение для командированных, до меня тут не жил никто. Стол, два стула, кровать. Даже графин стоит. Благодать! Вместе — и кабинет, и спальня. Сказали: временно, пока жилье служебное не подберут. Но мне про те обещания и в голову не пришло когда-нибудь напоминать.

Мир Саввич, так звали первого моего директора, поднялся со мной на этаж, все показал:

— Уж извините сердечно, с водой пока будут трудности.

Как-нибудь справимся, ничего!

Хороший был человек Мир Саввич. Спокойный, заботливый, мы долго работали с ним. Вышел на пенсию, уехал к себе на родину, не помню куда — Пятигорск, Кисловодск. Говорят, рискованно климат менять в пожилом возрасте. Да, хороший был человек.

Никогда я не вел дневника, к сожалению, и прошедшие дни наплывают у меня один на другой, да что там дни! — годы и целые десятилетия слепляются в памяти. Но первый свой вечер в театре я запомнил в подробностях. Как распаковал чемодан, книжки расставил и фотографии, внутри у меня все подпрыгнуло от радости. Спустился за полночь в зал: двери плотно затворены, кругом непроглядная тьма, дождался, пока глаза привыкнут, на сцену влез, побродил по ней. Несколько раз вдохнул глубоко, хотел крикнуть: «Нечисто, князь!» или хотя бы «Карету мне!», но только засмеялся тихонечко. Долго-долго стоял потом в темноте.

В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Справа за сценой актерский буфет. Прошу Валентину Генриховну дать мне яйцо с горошком и суп.

— Суп вчерашний, Александр Иванович. Рыбу возьмите. Рыба хорошая.

Долги наши Валентина Генриховна записывает в тетрадь. Что потом случается с ее записями? Ни разу не видел за тридцать лет, чтобы она отказалась кого-нибудь покормить. Не только работников, но и гостей. Я-то расплачиваюсь, но не у всех такое выгодное положение. «Ведь мы играем не из денег...» Так, Любочка?

Любочка сегодня не в настроении. Отправляюсь в зал, через десять минут репетиция: интересно же, к нам из Питера приехал молодой режиссер.

— А далеко на севере, в Париже...

Общий смех: на галерее показывается Дон Гуан, голый по пояс, на шее гитара висит.

Режиссер подает реплику:

— Не одеться ли вам, Вячеслав?

Сам он сидит с поднятым воротником пальто, на улице минус сорок, в театре топят, но недостаточно. Лаура ходит по сцене в ватнике. Рыжая, в завитушках — Пружинка, так зовут ее, из-за волос.

Люба не получила роль, но занят муж ее, Захар Губарев, заслуженный артист республики, без пяти минут. Ему, как и Славочке, грим не нужен: Губарев — вылитый Командор.

Режиссер снимает очки, дышит на них, протирает платком. Снова обращается к Славочке:

— У вас красивое тело, — говорит он задумчиво. — Но давайте его оденем во что-нибудь.

Нет, у Славочки приготовлена какая-то акробатика, он ведь был циркачом. Дона Анна отхлебывает из термоса — греется, все знают, что у нее в термосе за чаек. Питерский режиссер не знает, но тоже, возможно, догадывается: не надо столичных считать простофилями.

— Что происходит, я не пойму?! — взвизгивает Дона Анна. — Давайте уже, разводите нас!

Режиссер останавливает репетицию, собирает артистов в кружок:

— Будем вместе искать, пробовать.

Губарев комментирует:

— То есть он ни хрена не знает, что ставить собрался, вы поняли?

Кроме нас с режиссером все улыбаются. Мне больно на это смотреть, да и теперь вспоминать нелегко.

Режиссер поворачивается к Доне Анне:

— А вас я от работы вынужден отстранить. Почему? Не догадываетесь? Хотите, при всех объявлю? И буду ходатайствовать перед дирекцией...

— Никто меня никуда не выгонит, — кричит актриса (я нарочно не называю фамилии, вдруг она работает до сих пор). — Расскажу, как вы матом ругались. «Похерить» — это ведь мат, мат?

Режиссер смеется. Зубы у него белые-белые. В Вечности ни у кого таких нет. Говорят, что-то с водой не то.

Почему я именно эту сцену вспомнил? Много было всего перед тем, многое после произошло. Так, вспомнилось? На самом деле — не просто так: с «Каменного гостя» начались наши постановки классики, постановочки.

Режиссер приезжал в феврале, это точно, Любочка в феврале родилась, она Водолей, для нее это что-то значило. А год был какой, не получается рассчитать. Две тысячи пятый, я думаю. Или шестой.

— Слышали, Александр Иванович? Питерский ваш протеже уехал от нас, разорвал договор.

Да, Любочка, он заходил попрощаться.

Губарев широко улыбается:

— Не выдержал прессинга. — Разве это повод для торжества? — Зубы свои пускай теперь у себя на Невском показывает.

— Лошадям! — веселится Славочка, вот на кого всерьез обижаться нельзя.

— Надо держать удар, — не унимается Губарев. — Без характера нечего делать в профессии. Это вам говорит заслуженный артист республики.

Вообще-то Губарев еще не получил звания, пока только документы отправили.

— Александр Иванович, почему мне не дали Дону Анну сыграть?

Пожимаю плечами: прихоть художника.

Трудно рассказывать по порядку, когда просто живешь себе мирно, своим чередом. Семидесятые, восьмидесятые — тихая жизнь, очень тихая. Понятно, завлит — на театре фигура не главная. Есть директор (он же худрук), завтруппой, завпост (про режиссеров молчу, режиссеры были у нас приглашенные), но если долго работаешь, то волей-неволей приобретаешь вес: что-то рекомендуешь для постановки, по поводу распределения высказываешься, и тебя слушают. С актерами отношения были равными, благополучными. Возникали у них

недоразумения: достает артистка тетрадь, хочет роль повторить, а страницы склеились — ей вареньем капнули между страниц. Куда бежали? Наверх, ко мне. Рассказываю как есть, не для того, чтобы хвастаться.

Начались перемены в стране — кто-то ездил в столицы, докладывал, — но до Вечности, до театра особенно, новости доходили с трудом. Жили так: с утра репетиция, днем отдохнуть, артистам — роль повторить, вечером на спектакль. Труппа у нас небольшая, все заняты. Артисты любят работать: в выходные по два спектакля бывало, да еще и детские утренники, как мы успевали, выдерживали? Телевизор не поглядишь, за все эти годы так и не образовалось у меня телевизора. Пьесы — мое окно в тот, другой мир, много читать приходилось по должности — пьесы тематику поменяли, это было, да.

Вот наш репертуар в девяностые, приблизительный, из того, что сразу приходит в голову. «Дмитрий и барабан»: про красивую жизнь, комедия. По языку не особенно интересная, но много действия, много женских ролей. Зрителю нравилось, смотрели по несколько раз. Еще комедия, перевод с английского, — «Никогда не улыбайтесь крокодилу», крепкая штука, будни американской тюрьмы. Полная противоположность ей — «Лучше б ты был евреем», про особые отношения между мужчинами, мелодрама, у нас спектакля не поняли, не продавался, быстро сошел. Сам удивился, когда посмотрел: и зачем советовал? Что-то, видимо, зацепило, пока читал, да и в столицах много шуму эта пьеса надела. И снова комедия: «Чем черт не шутит», нет необходимости пересказывать, вещь известная. Такой вот репертуар.

В «Северогорском вестнике» писали про нас. «На сцене царило его величество Искусство», одна и та же зрительница писала, но подписывалась по-разному. То она была Музой Васильевной, то Мельпоменой Сидоровной — выбирала имена посмешней. «Зритель слышал и внимал с широко открытыми глазами и замиранием сердца. От оваций уши закладывало», — понятно, преувеличение, но нашим нравилось: вырезали, в гримерках себе приклеивали, особенно если газета ставила их фотографии. Артисту необходимо внимание, и когда Мельпомена помалкивает (хотя она, отдадим ей должное, писала про всех), надо что-нибудь все равно прилепить, хоть благодарность, грамоту от театра в связи с юбилеем, за многолетний добросовестный труд.

Однажды вышла статья в центральной газете. Озаглавлена она была просто: «Юдоль».

«На фоне невысокого общего уровня актерской игры в спектакле случается несколько катастроф. Так, главная героиня в перерывах между актами заболевает какой-то болезнью: становится отекающей, деблолой, принимается разговаривать глубоким контральто — в первом действии она только попискивает. Ее пятнадцатилетняя дочь при появлении объекта своей влюбленности начинает страшно облизываться. А сельский священник расхаживает по сцене в облачении митрополита и поминутно крестится: то ли отгоняет нечистую силу, то ли хочет руки занять. В довершение образа — окает, словно командирован из Ивановской области. Зритель, однако, все принимает как должное. Вечность — маленький город: что дадут, то и будут смотреть. Афишу и программки к премьере выпустить не успели. В фойе развернута продажа шуб. Юдоль».

— В перерывах между актами! Попискивает! — повторяют за спиной у Анны Аркадьевны, нашей примы, артистов нетрудно развеселить.

— Давайте подумаем, Александр Иванович, о том, чтобы не работать с живыми авторами, — только и сказал Мир Саввич, когда прочитал статью.

Я согласился: не критик писал. Критики ругают успешных и знаменитых — кто мы, чтоб нас ругать? Не стану называть фамилию автора: он приезжал на премьеру, за собственный счет, дал Валентине Генриховне три с половиной тысячи рублей на банкет, а сам на него не пришел.

Вот, говорю Миру Саввичу, один питерский режиссер давно мечтает у нас поставить «Маленькие трагедии».

— О-хо-хо, — вздыхает Мир Саввич.

Решайте, мол, сами, дорогие мои. Он с нами уже прощается, уезжает к себе в Пятигорск.

Итак, февраль две тысячи пятого или шестого: меняется руководство, новый директор, Геннадий Прокопьевич. Небольшого роста, стремительный, по театру буквально летал, хотя, между прочим, тоже сорок какого-то года рождения. Конечно, Вечность для него маловата была, он прежде заведовал краевой филармонией. Разные слухи ходили, не буду их повторять.

Собрал нас Геннадий Прокопьевич, осмотрел правым глазом, левый был у него стеклянный, им он только подмигивал:

— Наигрались в искусство? Деньги будем теперь зарабатывать.

Так мы впервые узнали про гранты, раньше и слова не слышали. Гранты, сказал Геннадий Прокопьевич, охотней всего выделяют на классику.

— Ставить будем помногу, быстро, своими силами. Один-два спектакля сыграли — взялись за новое. Александр Иванович, творческие вопросы поручаются вам. — Подмигнул мне: — На классике не погоришь. Проверено.

Все поддержали тогда Прокопьяча: режиссеров долой, только морочат голову. Современной драматургии нету совсем. Чернуха, комедии. Пора обратиться к серьезным вещам. А костюмы и декорации всегда можно подобрать из старого, склады уже переполнены. Мы не академический театр. — Тем более что в мире сейчас такая тенденция... — Ну-ка, какая в мире тенденция? — Не важно. Театр искусство условное, предполагает эксперимент.

Разговор вроде как разговор. Мир Саввич тоже, бывало, посетует, что очень уж длительный у нас репетиционный процесс, постоянно сроки передвигать приходится. Кто бы подумал, однако, что с того вот собрания поднимется ветер, который не оставит на месте ни нас, ни театра, ни города. Вспоминаю — о чем-то ясно, о чем-то с трудом, пытаюсь разобраться в мотивах участников нашей истории, думаю: как же мы были беспечны, как безалаберны, как заигрывали с провидением, с судьбой. Классика! Вещи, которые в столичных театрах по несколько лет репетируют, да так и не решаются показать, мы — кто там у нас на очереди? страшно даже великие имена называть — погоняем туда-сюда месяцок, достанем со склада костюмы и декорации, пыль сдуем и выпустим. Сыграли, списали и давай осваивать новый грант. Не надо нам было с деньгами связываться, разве Валентина Генриховна плохо кормила нас? Жили дружно, комедии ставили — все радуются, обнимаются: со сдачей вас, Анна Аркадьевна! с премьерой, Александр Иванович! — так бы и прожили век.

По документам, рассказывала бухгалтерия, появляются незнакомые люди — постановщики, костюмеры, художники-оформители, больше того, композиторы и даже, трудно поверить, педагог-репетитор по сценической речи возник, армянин!

Я на том февральском собрании помалкивал, только задал пустой вопрос: а если проверка?

— Проверок опасаться не следует, — и весь разговор.

Многие потом обвиняли Прокопьяча — и напрасно. В предлагаемых обстоятельствах действовал человек. Очень ему, кстати, театральные словечки по вкусу пришлись:

— Народ наш давно живет в предлагаемых обстоятельствах, это вы тут в Вечности занимаетесь непонятно чем.

Вскоре после собрания постучался ко мне режиссер, тот самый, из Питера. У нового директора побывал, не встретил с его стороны понимания, расторг договор.

— Промахнулся я с Доной Анной, не угадал. Ваша, как ее? — Швальбе, она чересчур красивая, на такую кто угодно позарится. А эта... — называет фамилию, — предупреждали, что поддает. Подумал: вот то, что надо, — вдова-бухгалщица. Дон Гуан не пропускает ни одной женщины — ни мовешек, ни... как там? — вы знаете. Тяжелое дело, Александр Иванович, ставить классику.

Я отвожу глаза.

Новый директор и новое поколение артистов: Захар Губарев, Любочка Швальбе, жена его. А вскоре и Воробьева, Славочку, в труппу приняли. Дон Гуан — его первая большая роль.

Период дружбы между Захаром и Славочкой пришелся на тот момент, когда артисты приобрели невиданную, неслыханную самостоятельность. Геннадий Прокопьевич часто отсутствовал, а я — разве мог с ними справиться? Тем более что артисты подобрались исключительные, особенно эта троица.

Любочка-ласточка: ей за тридцать, но как хороша! Ни одной морщинки, ресницы длиннющие, голос... А волосы!

— Мы с Захаром были самой красивой парой на курсе!

— Представляю, — хохочет Славочка, — что это был за курс!

Губарев старше Любочки. Пошел в театральный не сразу: армия, даже училище, артиллерийское.

— Артиллерия — бог войны. — Губарев любит оружие.

На деньги с гранта купил револьвер, ходил его в тир пристреливать. Зачем он тебе, Захар?

— Чтоб вопросов не возникало.

Круглая бритая голова, нос широкий — выразительная физиономия, многие знают Губарева по ролям в кино. К нам его приманили северными надбавками, квартирой в собственность, перспективой звание получить. С ним и Любочку:

— Раньше Захар совсем другим человеком был. Люби-и-л меня, — Любочка тянет «и», голову запрокидывает, шея у нее красивая, белая! — Целовал мне пальчики, сочинял стихи.

Мы со Славочкой переглядываемся: Губарев сочинял стихи! Люба, прочти с выражением.

— Знаете, Александр Иванович, как я хотела детей!

Поражаюсь мгновности ее переходов.

— А Губареву по барабану. Он ведь Стрелец. Стрельцам, им по барабану — женщины, дети. Дети особенно. Александр Иванович, а Федюнин, как вы думаете, голубой? Все время возле Захара крутится.

Ох, ты и спросишь, Любочка! Нет, наверное. Я предпочел бы не говорить о Федюнине, ни сейчас, ни потом.

Куда веселее вспомнить о Славе, о Славочке Воробьеве, соседе моем и товарище. К нам в Вечность Славочка от чьего-то мужа сбежал. В поезд залез и ехал, пока не приехал, название понравилось. Тоже квартиры своей не имел, поселился в театре, на одном со мной этаже. Звал меня дядей Сашей.

Славная биография: был циркачом, воздушным гимнастом — по канату ходил, кувырчался под куполом. На четвертый этаж по водосточной трубе влезал. — Убьешься, шею свернешь! — Только махнет рукой: сколько раз с высоты приходилось летать, подумаешь! — А куда смотрели родители? — Смеется: от-

куда я знаю? — в четырнадцать лет из дома ушел, полюбила Славочку дрессировщица.

Да и как такого не полюбить? Актрисы поголовно все обожали его. Спросишь: опять допоздна? Улыбается:

— Не могу без горячей воды, вы же знаете.

Ничего, приспособишься.

— Вам легко говорить. Вы, дядя Саш, уже в возрасте.

Не только актрисы, все одинокие женщины — костюмерши, гримерши, бухгалтерши — Славочке рады помочь, в иные дни он по несколько раз принимал ванную. И никто не устраивал сцен, не ссорился — огромная редкость такие чудесные люди, как Славочка. Я никого похожего не встречал. И не встретил бы, если бы не театр. Думаю иногда: какой я счастливый, как мне все-таки повезло! А если и было что-нибудь в моей жизни темное, нехорошее, так это я сам напортил себе.

Много всего он умел, например жонглировать, пламя глотать. Помнил текст безо всяких тетрадочек: на страницу однажды посмотрит — и наизусть. А как на гитаре играл! Как пел! Валентина Генриховна, человек на что сдержанный, самое вкусное приберегала для Славочки.

— Наше всеобщее достояние, — так она называла его.

Из сотни — больше! — артистов, за эти годы у нас работавших, судьба выбрала трех, столкнула их. Мы и сами, конечно, ее подталкивали. Вообразили, что горы можем свернуть, переиграть чуть не всю мировую классику. Ошибка, другая, потом преступление, а дальше — как повезет. В нашем случае результат налицо: ни театра, ни города. Есть в случившемся и моя вина: греков точно можно было в покое оставить, уж «Эдипа» никто не вспомнил бы без меня. Глупо хвастаться интуицией — где она раньше была? — только помню: когда мы взялись за «Гамлета», я какого-то наказания для себя уже ждал, даже желал его. Прибыли проверяющие, и показалось, что — вот оно. Нет, дала нам судьба заглотив наживку как следует, с проверкой все обошлось.

Откуда едут? Из счетной палаты, из управления? Все взволнованы. Проверяющих не было никогда. — Из министерства! Сколько их? — Целых четверо!

Встречаю Валентину Генриховну: не знает, за что хвататься, — бежать в реквизиторский цех, долговую тетрадку жечь, собирать на стол? Заглянул в پوشивочный — погладить пиджак — там тоже переполох.

Один Геннадий Прокопьевич совершенно спокоен. Вызвал Губарева, меня, кого-то еще из мужчин.

— Не беспокойтесь, — говорит, — пацаны. Что сегодня у нас? «Мера за меру»? Это кто, я забыл, Шекспир? Идите работайте. Фраеров этих — сразу ко мне. И нечего дармоедов кормить, тратиться.

Редкого самообладания был человек.

Поздно вечером — пусто в театре, темно — проверяющие заметили из-под двери свет, зашли в мою комнату. Такого, как в Вечности, они не встречали нигде. Геннадий Прокопьевич их усадил в приемную, даже чаю не предложил, оделся, ушел.

Я спустился на вахту, где телефон.

— Александр Иванович, я в отпуске. Бухгалтерия тоже, на прошлой неделе приказ подписал.

Чаем их напоил с сухарями. Они огляделись. На столе моем «Гамлет» раскрыт.

— Ставите? — Полистали. — А гриф министерства культуры где?

Никто меня раньше не спрашивал.

— Слышали? Скоро закроют вас. Город весь ликвидируют. Невыгодно шахты держать. Нерентабельно.

Очень эти люди из министерства производили грустное впечатление: разве они знали что-нибудь? Все же спросил: как можно закрыть целый город?

Пожали плечами:

— Молча.

ЭДИП

— Я, что же, всегда теперь буду его мамаш играть?

Этот вопрос я услышал от Любочки, когда мы покончили с «Гамлетом» и, себе на беду, за «Эдипа» взялись.

«Гамлет» тоже прошел с приключениями. Вбегает ко мне Пружинка — Офелия:

— Там наша Люба с ума сошла.

Люба играет Гертруду, Губарев — призрак. Славочка, разумеется, принц. Репетиция, и Люба — то ли забыла слова, то ли такое выдалось настроение — рассказывает про то, как старый муж принуждал избавляться ее от детей.

— Ревмя ревет, Александр Иванович, и прямым текстом — как под лобыми предложениями, стоило ей залететь...

Ужас какой! Что мне сказать Пружинке? — что такой перевод? Бегу вниз. Люба стоит, отвернувшись к кулисе, над ней возвышается Командор: ходули, доспехи, производство у нас безотходное. В глазах у Славочки огонек:

— А ты ревнивый, Захарушка. Тебе бы Отеллу играть.

У Губарева краснеют шея и голова.

— Смотрите, как Губарев багроветь научился! — хохочет Славочка. — Как синьор Помидор.

Захар пробует зацепить его костью. Я так и не понял, что между артистами произошло. Подумал: мужчины шутят. Кажется, они и сами хотели так думать. Репетиция сорвалась.

Но и «Гамлета» выпустили. Люба с ума не сходила, слова все произнесла. Сыграли — каждый, как смог, Мельпомене понравилось.

— И кого вы ей дальше намерены дать, вашей Любочке? Клеопатру? Марию Стюарт? Может, Джульетту? Ей уже есть четырнадцать?

Пускаешься в объяснения: вы же знаете, Анна Аркадьевна, то, что мы делаем, — это, увы, не очень всерьез. Мы стараемся, изобретаем концепцию, пробуем, но все впопыхах, необходимо отчитываться за грант, вон мы сколько в этом сезоне понаоткусывали. А вам непременно найдется что поиграть, только вы медленно учите, медленно входите в роль.

Анна Аркадьевна затягивается папиросой, выпускает дым.

— Нас, Александр Иванович, учили не роли играть и уж тем более не деньги телом своим и голосом зарабатывать, а жить на сцене и умирать. Я не учу, я проживаю роль, понимаете разницу?

Слово даю, себе и Анне Аркадьевне, обсудить положение с Прокопьевичем. Между прочим, спектаклей наших он не смотрел. Говорил, одноглазые лишены объемного зрения.

Загорелый, подтянутый, Геннадий Прокопьевич кормит даже не рыбок — рыб. Вдоль стены огромный аквариум, в нем плещутся разноцветные чудища,

на столе новый письменный гарнитур. Сообщаю, что, с моей точки зрения, постановка классики себя методически изжила. Вещи, которые должны давать импульс к развитию, приносят усталость и раздражение. Дело совсем не в артистах и уж конечно не в великих произведениях, которые мы получили возможность сыграть. Дело во мне: я всего лишь завлит и уже пожилой человек, к тому же без театрального образования.

Я много чего приготовил сказать: что стоило нам начать зарабатывать, как все разъехалось, и кто мы теперь? — голые люди на голой земле (это мы тоже поставили). Но Прокопъич перебивает меня:

— Вам шашечки или ехать? — с недавних пор это любимое его выражение. Все не решаюсь спросить, вдруг что-нибудь непристойное. — Вы устали, Александр Иванович. Когда были в отпуске? Никогда? Отправляйтесь немедленно.

Куда? Прокопъич огорошил меня. Куда я отправлюсь?

— Да мало ли? — Он показывает на аквариум, словно зовет в свидетели рыб. — В Шарм-аль-Шейх. В ту же Грецию.

Я теряюсь и раскисаю совсем. В результате прошу разрешения поставить «Царя Эдипа» — мол, давняя такая мечта. Сам себя слушаю с удивлением. Прокопъич разводит руками: он в творческие вопросы не вмешивается, «Эдип» так «Эдип».

— Ничегошеньки я не понял. Строфа, эпизодий, антистрофа. О чем вообще материал?

О правде, Славочка: о том, что правда зачем-то нужна. Хоть от нее иногда очень грустно становится.

— Вы как Сфинкс, дядя Саш, говорите загадками.

Хорошо: про судьбу. Про судьбу материал. Знаешь, Славочка, выражение: на телеге судьбу не объедешь.

Вздыхает:

— Похоже на то.

В столице вспомнили Губарева — приглашают в многосерийный фильм. Заодно ему хочется выяснить, что произошло с документами, которые подавали на звание, то ли пять, то ли шесть уже лет назад. Предстоит обойтись без Захара, а жаль, я Креонта думал ему предложить. Или слепого провидца Тиресия: Губарев был большим мастером наводить на людей страх. С даром предвидения у него обстояло не так хорошо. Все мы задним умом крепки, но для Валентины Генриховны сюрпризов в том, что случилось между Любой и Славочкой, не было:

— От них же искры летели, еще до того, как уехал Захар. Страшно подходить было к этой парочке. Как будто все время мешаешь им.

Мне казалось — наоборот, они ищут общества.

— Тут нету противоречия. Ничего-то вы не понимаете в грехах человеческих, Александр Иванович, ни-че-го.

Может, и так. Ах, Валентина Генриховна! Вспоминаю, какой была она лет двадцать — тридцать назад. Всегда строгая, сосредоточенная, все куда-то спешит в неизменной своем переднике. Сколько лет прошло, как переменялась жизнь!

Соорудили жертвенник, хор расставили вокруг него буквой «П». Хор получился смешанным, не по правилам, зато каждому дали в руку маслячную ветвь. Машут, приплясывают, и поют интересно, им самим нравится:

— Александр Иванович, да это же натуральный рэп!

Славочка перестал ночевать в театре. На репетиции приходили вдвоем, держась за руки. Многим казалось, что оба имеют безумный вид, по мне так просто

чуть-чуть осунулись. Молодые актрисы сочувствуют Славочке, но удивляются: медом, что ли, ему там намазано?

— Уж не знаю, что он с ней делает, только Люба ваша лишилась ума совсем. — Так это видится Анне Аркадьевне, ее прежде всего беспокоит судьба спектакля: — Конечно, в порядке вещей, что Иокаста чуть-чуть не в себе, но в пределах же, до разумной степени.

Меня состояние героев устраивает: изнурены, но оба, что называется, в фокусе. Театрального образования у меня нет, но глаза и уши имеются.

А Анне Аркадьевне мы придумали роль без слов — воспитательницы Исмены и Антигоны, эдиповых дочерей. Эдипу они также приходится сестрами, Иокасте — внучками, а тетками и племянницами — сами себе.

— Ну и семейка, — вздыхает Анна Аркадьевна.

«Несчастливые вы дети! Знаю, знаю...» Славочка — настоящий царь, хоть он и младше всех.

— Вы можете вообразить себе Славочку стариком? — однажды спросила меня Валентина Генриховна. — И я тоже нет.

Много литературы я поднял тогда, вступил в переписку со столичными специалистами. Дорогие, обращаюсь к артистам, это греческая трагедия, тут не требуется жить на сцене и умирать, надо не выражать страдание, а изображать его, понимаете разницу? — Не особенно, Александр Иванович, но постараемся. — Забудьте, пожалуйста, чему вас учили в училищах — не живите на сцене, только показывайте. Впервые за долгие годы может выйти серьезный спектакль.

Любочка переносит новое свое положение просто, с достоинством. За несколько мест в трагедии я, по правде сказать, боюсь: не впервой нашей Любе играть цариц, и мне еще памятны приключения с «Гамлетом». Но нет, не впадает она в состояния, когда речь заходит о том, как безжалостно обошелся Лай, прежний ее супруг, с ребеночком: «Связал лодыжки и велел на недоступную скалу забросить». И даже когда другие актрисы пробуют ей мешать — используют Любочкин реквизит или нарочно слова ее произносят, — она остается такой же, отстраненно-возвышенной. Откуда передалось ей это спокойствие? Удивительно.

С той же царственностью она переселяется в комнату Славочки. Скоро вернется Захар — что же им, прятаться? Да, вместе работать потом, втроем, но люди мы взрослые, цивилизованные. «О, перестань об этом думать, царь!» — нет, ее уже было не сбить, нашу Любочку. Потом, всё потом, давайте «Эдипа» выпустим. Как-то и женщины поутихли: Слава теперь женат, Любочка снова замужем.

— Прекрасная пара, — отзывается о них Валентина Генриховна.

— Как Есенин и Айседора Дункан.

— Федюнин, типун тебе на язык. Доел — и шагай отсюда.

Ни с кем Валентина Генриховна так не строга, как с Федюниным. Сказала однажды:

— Боюсь некрасивых людей.

Вот и Федюнину перепала реплика — был у нас в штате такой человек, даже не знаю, кем числился. Прокопич однажды спросил: а нужен он нам? Может, избавимся от надоедливового товарища? Пожалели тогда: после стольких-то лет... И потом — красная сыпь в пол-лица, куда он устроится? А руки вы его видели?

И вообще-то жалко слабых людей, а этот пьесы писал. Ни один театральный журнал не печатал федюнинских пьес, настолько они неудачные. Я и так с ним, и эдак — чтоб особенно не ругать, но и слишком не обнадеживать. Опять у вас, говорю, бобровые воротники, падения без чувств, шпоры, ментики. Ответ-

чает: законы жанра, историческая реконструкция. Ладно, раз так, только лучше Геннадия Прокопьевича не отвлекать, сразу уж мне показывайте.

В последнее время Федюнина часто в театре видели, чаще обычного. Не придали значения.

Все-таки, что же Губарев? Уехал, мы и забыли о нем. Театральная память короткая: старик Лай, прежний муж, отбыл куда-то. В Фивы, в Коринф, в Элизий. Превратился в призрака.

Мы начали репетировать, наверное, в октябре, премьера запланирована на февраль. Получается, Губарев не объявлялся на Новый год, или он позже уехал? Но в январе Славочка в театре не ночевал, и на Празднике Солнца — у нас отмечали его широко — Захара, кажется, не было. Странно. Да, насыщенные были дни — самые лучшие за все мои годы в Вечности — какая уж тут хронология! Предчувствие триумфа и вместе — беды. Не я так один ощущал, многие.

Состоялся прогон для своих. Удачно, без крупных потерь. Неужели получится?

В день премьеры — никаких репетиций. Спускаюсь позавтракать: в буфете Славочка, в одиночестве. На столе только рюмка и пепельница.

— Уже четвертая, — шепчет мне Валентина Генриховна. — Запеканку ему приготовила, отказался есть.

Понятно, волнение. Я, однако, спокоен: до спектакля еще много времени, да и не был Славочка никогда алкоголиком. Спросил его все-таки: зачем же ты пьешь с утра?

Улыбается виновато-беспомощно:

— Чтоб не курить натошак.

СТРЕЛЕЦ

— Славочка, хочешь, кофе сварю?

Слышит ли, о чем его спрашивают? Нет, встает, опять улыбается и уходит прочь — веселой своей цирковой походкой, немножко развинченной. Белая водолазка, черные брюки и туфли черные. Мне бы обеспокоиться — куда это он приедет? — но я задумался о своем. О том, что никогда уже не понадобится.

Мог ли я знать, что в то утро на нашей сцене разыграется страшное действие — самое отвратительное, бессмысленное из всего, что можно вообразить? Мог ли судьбе помешать? Сначала, глядя с близкого расстояния, думал: конечно же, мог — и знать, и вмешаться, винил себя. А потом несчастье со Славочкой встроилось в череду других катастроф, и вера моя, прямо скажем, безумная, в то, что мы можем воздействовать на события, улетучилась. Все уже где-то написано, надо принять неизбежное. И помочь остальным — тем, кто рядом, — тоже его принять.

Помню отчетливо: вот Валентина Генриховна убирает со стола рюмку с пепельницей, вот я прошу у нее запеканку и чай, и вдруг раздается хлопок, а за ним — звон стекла. Что там такое? Монтировщикам делать на сцене нечего, спектакль давно установлен. Мы переглядываемся — и скорей туда.

Дверь на сцену закрыта, с чего бы? Мы не запирали ее никогда. Руками, ногами колотим в нее, замок дергаем. Потом Валентина Генриховна будет плакать, рассказывать, что в эти минуты впервые узнала, где сердце находится, мы будем для нее сердечные капли искать. А тогда поняла моментально:

— Губарев. Сейчас он его убьет.

Едва успела сказать, и опять хлопок, никогда изблизи я не слышал, как хлопает револьвер, настоящий: тупой, омерзительный звук. Мы застываем в ужасе.

Грохот ног, дверь распахивается, перед нами Захар. В одной руке швабра, которая дверь держала, в другой револьвер.

— Финита, допрыгался, воздушный гимнаст. Любку зовите, пусть поглядит на хахалю. Белку бьют в глаз! — Оттолкнул нас и похромал в сторону.

У Славочки — огромная рана вместо лица. Кровь, не клюквенный сок, которым он должен был глаза себе мазать вечером. Валентина Генриховна накрывает его передником.

Дальше помню кусочками. Пробегает по заднему ряду Федюнин, выскальзывает в зрительское фойе. «Крыса», — отчетливо произносит Валентина Генриховна. Губарев сидит на полу рядом с дверью, наклонил свою бритую голову, боевой его дух погас: спрятал лицо, колени поджал, дрожит. Револьвер под себя подгрел. Кто-то Губарева укрыл курткой, поставил ему воды. Подходят люди, тихо переговариваются, стоят все немного поодаль — когда уже его заберут? Из-за того, что Губарев захромал, возникает предположение, что Славочка ранил его. Нет, Славочка в воздух выстрелил, расколотил фонарь. А Губарев за груз зацепился, который кулису удерживает, все мы об эти грузы ноги расшибали себе. Ничего, говорят, перетопчется.

Я иду сообщить о том, что произошло, Любочке. Она машет рукой, отворачивается. Слезы появляются у нее только к вечеру. По счастью, удастся удержаться ее наверху.

— Четырнадцать метров восемьдесят сантиметров. — Я помогаю Ирине Вадимовне измерить расстояние между кулисами.

Ирина Вадимовна — лейтенант юстиции, возраст — от тридцати до пятидесяти. На вид скорей пятьдесят, по разговору — существенно меньше. Спросит:

— И чего было не пойти пошмалить на улице? — И сама же ответит: — По такой погоде околеешь влегкую через пять минут.

Конечно, Вечность — не Пятигорск, но дело не в холоде. Федюнин, исторические реконструкции. Я больше не видел этого человека. Он заходил на поминки, об офицерской чести порассуждал, о дуэльном кодексе: беспорядок, конечно, стреляться одним револьвером, по очереди, но этим двоим не только оружие приходилось делить, а выстрелом в воздух Губареву было нанесено дополнительное, смертельное оскорбление. Прокопич отвел Федюнина в сторону, что-то сказал ему, и тот исчез окончательно.

— Да ладно вам, — удивится Ирина Вадимовна, когда мы расскажем ей, откуда возникла идея дуэли. — Двадцать первый век, офицерская честь. Смехота.

Губарева и Славочку увезли ближе к вечеру. Несколько следующих дней я почти не запомнил — время вдруг сделалось чрезвычайно быстрым. Люба ни с кем говорить не могла, я приносил ей поесть, иногда она ела, иногда оставляла еду нетронутой. Прокопич велел написать объявление: «В связи с переездом на новую сцену спектакли отменены». Мы, в общем, всегда уважали Прокопича, но только теперь в полной мере отдали ему должное. Он ездил в Северогорск, ходил по учреждениям и к девятому дню доставил Славочкин прах. Вместе мы поднялись к Любе в комнату, поставили урну на подоконник. Люба поплакала, мы постояли возле нее. Договорились: вот потеплеет, тогда и решим, как Славочку похоронить. Глядишь, и родственники объявятся, им телеграмму отправили.

Прокопич произносит что-то в том смысле, что неизвестно, где мы сами окажемся, когда потеплеет: странно, думаю, раньше он избегал общих слов. Приглашаем Любу спуститься в буфет, мы поминки устроили. Нет, она не пойдет, не хочет в теперешнем своем виде показываться. Тогда и я, наверное, позже спущусь. Вслед за Прокопичем выхожу в коридор. Он кивает на дверь:

— Актриса. Мысли уже, как себя показать. Оклемается.

Дай-то Бог, Геннадий Прокопьевич. Хочу поблагодарить его за участие. Он меня останавливает.

— Я тут отъеду. Вас оставляю за главного.

А что со спектаклями делать — без Славочки и других? Восстанавливать старое: «Чем черт не шутит», про крокодила? Все приобретает какой-то неправильный смысл.

— Александр Иванович, выдохните уже. Вот как мне с рыбами поступить? Ладно, я так. Вы же знаете новости.

Киваю. Я действительно думал, что знаю новости.

— Рассказывать правду легко и приятно, так что давайте начистоту. — Ирина Вадимовна, женщина-следователь, перед тем как встретиться со мной, успела со многих снять показания.

Измеряет, записывает, я помогаю рулетку держать. Гляжу на то, как перемещается Ирина Вадимовна, ставя ногу на всю ступню, случайно руками взмахивая, думаю: насколько иначе ходят по сцене артисты. Так, наблюдение. Тяжело мне тут, хоть, конечно, декорации убраны, все помыли, вытерли. Знаете, говорю, вы ведь целый день на ногах, Ирина Вадимовна, пойдёмте ужинать.

Покормили ее: от поминок осталось много еды.

— Налейте, что ли, а то после Швальбе вашей у меня голова — вот такая вот, — показала. — Сначала она мне впихивает, что два ее мужика что-то там релетировали. Ну-ну, боевыми патронами. Типа производственный травматизм, да? А где второй ствол? Не сходится. Тогда она заявляет, что одна виновата во всем. Спрашиваю: Любовь, как ее? Это вы Воробьева, значит, ухлопали? Собираетесь взять на себя?

Бедная Люба. Так она, стало быть, чувствует. Слов из песни не выкинешь.

— Почему не выкинешь? Выкинешь. Поговорите с ней. Да, и то, что Губарев целовал ей пальчики, не представляет ни малейшего интереса для следствия.

Любочку женщины никогда не жаловали. Спрашиваем, что ожидает Губарева.

— Убийство без отягчающих: от шести до пятнадцати. А вы как думали? Что сошлют на Кавказ? Вот если бы потерпевший тоже стрелял в него, могли бы назначить и меньше меньшего. Дети малолетние есть? Да вы не нервничайте. Таким, как ваш Губарев, им не так и плохо в колонии: личность известная, его по телевизору видели. Лишь бы сам не увлекся — вон он стреляет как. Погодите, до прессы дойдет — он еще героем окажется. Ладно, разболталась я с вами. Пора в управление.

Шубу подал Ирине Вадимовне, веду ее к выходу, там большая Славочкина фотография. Задержались возле нее.

— Жалко. — Вздыхает. — Но хотя бы успел пожить. У меня сыну вон двадцать пять. Что делает? Да ничего он не делает, косит от армии. Целыми днями в компьютер играет, ни одной женщины. И не знаешь, что лучше, да?

Вернулся в буфет, сел. Слишком много всего. Валентина Генриховна садится рядом со мной:

— Уезжаю я, Александр Иванович. За границу. — Смеется. У нее в Мариуполе брат. — А что, другая страна!

Конечно, как-то жить надо дальше, да? Понимаю внезапно, что очень устал. А ведь мне еще надо проведать Любочку.

— Вы-то сами, Александр Иванович, ничего не надумали?

В каком отношении? Чувствую: нет, не могу поддержать разговор, кружится голова.

— Город же выселяют. — Руками всплеснула: — Вы что, слышите в первый раз? Люди вещи складывают, переправляют их кто куда. На почте столпотворение. А что на вокзале творится, вы б видели!

Как-то я соображаю сегодня с трудом. Разве можно выселить целый город? Наверное, раз Валентина Генриховна говорит. Зачем ей меня обманывать? Я никаких указаний не получал. Завтра об этом подумаю, а сейчас мне бы лечь.

— Нет у вас ощущения, что мы с вами, Александр Иванович, прожили не свою жизнь? Что весь театр этот — чужая для нас история?

Не знаю. А что бы я делал? Литературу преподавал? Нет ничего случайного. Поднимаюсь, прошу у нее прощения. Видимо, сильно качнулся в сторону.

— Дайте-ка, — она предлагает, — я доведу вас до комнаты.

Не хватало еще. Дойду.

— Хороший вы человек, Александр Иванович. Самый лучший из тех, кого мне пришлось встречать.

Так Валентина Генриховна попрощалась со мной. А я и поблагодарить ее не сумел, даже не спросил адреса.

Все распушены по домам, остались только мы с Любочкой. Чем мы заняты? А ничем. Попытались в карты играть, в шахматы. Вечерами сидим в буфете, часто смеемся по разным маленьким поводам. Планов не строим, не вспоминаем прошлого, спим, ночью и днем. Ничем мы не заняты. Жжем электричество.

В прежние годы мне нравилось, когда артисты разъезжались по отпускам, я столько дел переделывал: книги, журналы читал, новые пьесы выискивал, гостей из других городов принимал, к нам приезжали с гастролями народные коллективы, конкурсы самодеятельности. А теперь мы сами как будто отбыли в путешествие, и сколько оно продолжится?

Сорок дней. Посидели вдвоем, вина выпили, спустились зачем-то в зал.

— А ведь похоже, Александр Иванович, мы тут никогда уже не окажемся. Вещи пора собирать.

Погоди, Любочка, вдруг наладится? Не надо нам было сюда приходиться. Она разрешила себя увести, но, кажется, посмотрела на меня с сожалением.

Лежу в темноте и думаю. Один хлопок револьвера! А если б осечка? А если бы Губарев не ушибся ногой? Может, тогда пожалел бы Славочку, тоже в воздух пальнул? И сам за решеткой не оказался бы. Стрельбу бы замяли, «Эдипа» сыграли бы вечером. А там, глядишь, и свозили б куда-нибудь — ведь хороший вышел спектакль.

Глупость, сказал себе, исторические реконструкции. Невозможно, оскорбительно думать, что всем управляет случай, что жизнь человеческая зависит от мелочей. Не мог Славочка мимо Любы пройти, не мог промахнуться Губарев, и про «Эдипа» тогда, у Прокопича, я неслучайно заговорил, не от того, что он вспомнил Грецию.

Так и заснул в этих мыслях, а утром бумага пришла: постановлением того и сего Вечность решено ликвидировать. Оптимизация, управление ресурсами, освоение новых земель: буквы перед глазами прыгают. Пробую их сложить во что-то разумное и явственно слышу голос:

Каким же очищением? Чем помочь?

Изгнанием иль кровь пролив за кровь,

Затем, что град отягощен убийством.

Его голос, Славочкин.

ПОСЛЕ ВЕЧНОСТИ

На перроне играла музыка, потом мы тронулись. Помню хлопья снега в свете прожектора, общий вздох, когда город внезапно погрузился во тьму. «Мама вас просит, чтоб не рубили сада, пока она не уехала», — произнесла Пружинка. «Отключили трансформаторную подстанцию», — ответил ей кто-то знающий. Были и слезы, конечно. За кипятком пошел — наткнулся на Анну Аркадьевну: стоит в тамбуре, почти в темноте, не видит меня. Завернулась в любимый свой плед, она почему-то его называла «плед с репутацией», курит и то ли напевает тихую песенку, то ли всхлипывает.

В эти дни людей непрерывно увозят в Северогорск, поездом, другого способа нет, селят в гостиницы, общежития, даже в школы, в училища. Квартиры предоставляют в первую очередь тем, кто с детьми, остальным их тоже построят, в ближайшем будущем. Кого-то, по слухам, приходится силой тащить: что подедаешь? — не бросать же людей без света, воды, отопления. Пока поймут, в какую попали историю, будет уже не выбраться. Я и сам ведь все понял с некоторым опозданием. Вечности больше нет — как это? — да вот так.

Театральных эвакуируют с последней партией. Дали нам два вагона, купейных, опять мы в выигрышном положении. Сижу против Любы, спиной к движению, нас только двое в купе, сверху вещи лежат, главным образом Любины.

— Замечательная у вас способность, Александр Иванович, не обрастать предметами, — хвалила меня всегда Валентина Генриховна.

Предпочитаю, отвечал я ей, заведовать реквизитом, который целиком помещается в мой чемодан. Вон он сверху лежит — металлические уголки, деревянные ребра — ничего-то ему не сделалось. С какой, помню, легкостью я взбежал с ним когда-то на верхний этаж! И теперь дотащил, справился.

За окнами снежная мгла, едем медленно. Что ж, вот и выстроился событийный ряд. Началось со стяжательства, с эксплуатации классики, дальше — запретная страсть, потом преступление. Героям — гибель и каторга, нам, статистам и хору, — изгнание. Разве можно в здравом уме утверждать, что жизнь не имеет фабулы?

Поднимаюсь, оглядываю багаж. Где урна? Урна где? Любочкины глаза, без того большие, распахиваются от ужаса: забыла на подоконнике! Неблагородно винить ее, она и сама в отчаянии. Рассудили так: никто теперь не нарушит покоя Славочки. Разве плохо жилось ему в его комнате?

Снова на место сажусь, прикрываю глаза. Опять событие, надлежит уместить его в череду других. Неслучайно же мы Славочкин прах в театре оставили...

— Александр Иванович! — Люба делает большую паузу. — Кажется, я беременна. — Снова пауза. — Почему вы молчите?

Что означает «кажется»? Боюсь у нее спросить. Это было бы хорошо, не правда ли?

— Думаете, хорошо?

Поезд остановился, не в первый раз: вьюга, пути замело. Расхаживаю по коридору, думаю. Проводница идет:

— Что, дед, не спится тебе?

Даже весело: дед. Вернулся в купе, посмотрел на Любочку, одеялом ее укрыл. В этот раз стояли особенно долго, ждали снегоуборочной техники. Всю дорогу так: немножко проедем и постоим, только к утру доехали.

Северогорск: дома высокие, многоквартирные, огромное здание администрации, трубы дымят. Настоящий город: дворец спорта, следственная тюрьма, в ней, между прочим, находится Губарев — законный Любочкин муж. —

Двинулись? Артисты стаскивают с полок вещи, выносят их из купе. Сейчас нам, наверное, выдадут ордера, мы разойдемся по новым домам. Будем в гости друг к другу заходить, вспоминать прошлое. — Хорошо бы нас поселили как-нибудь покомпактнее. — А мебель будет в квартирах? А бытовая техника? — Где вы такие квартиры видели? Я в разговорах участия не принимаю, да и никто меня в них уже не берет. «Выдохните», — так советовал Геннадий Прокопьевич? На театре все случается быстро. Пенсионер, дед.

Мысли мои о другом. Во всю ночь не закрыл глаз, на спящую Любу посматривал, одеяло на ней поправлял. Как-то она назовет ребеночка: может быть, Сашей? Хорошее имя, универсальное. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» — буду буквам учить. Или про Арарат, мамино.

Прибывших просят собраться в здании вокзала. Любочка долго приводит себя в порядок — она теперь очень медлительна. Подходим, когда уже в общем шуме ничего не поймешь: одни угрожают вызвать милицию, другие — прессу и телевидение, третьи — разобраться по-своему. Официальная женщина просит всех замолчать, войти в ее положение.

— Господа, нас призывают быть человечными! — Трагический смех Анны Аркадьевны превращается в кашель, затем в рыдания.

Новость такая: мы остаемся в поезде — им негде нас поселить. — Считайте, это гастрольный вагон, как в войну. Агитбригады годами не вылезали из поездов. — Но война ведь, вроде, закончилась? — Отвечают уклончиво: — Для кого как.

С моей точки зрения, даже боюсь ее высказать, — ничего ужасного: в вагоне тепло, есть свет, места хватает, нас прикрепят к вокзальной столовой, дадут талоны на трехразовое питание. В зале для пассажиров с детьми работает душ, им можно хоть среди ночи пользоваться. Не плачь, пожалуйста, Любочка. В вагончике, где я появился на свет, такого удобства в помине не было. Слышала? — если отключится электроснабжение, выдадут уголь в брикетах. Уголь в брикетах! Мы и мечтать не могли. Медпункт на вокзале тоже работает круглосуточно.

Любочкин лоб покрывается красными пятнами — нужно действовать. Пробираюсь через толпу и, немного не рассчитав громкости, сообщаю, что Люба находится в положении. Почему-то у наших это вызвало смех, артисты — как дети, бывают жестокими.

Женщина в форме разводит руками:

— Жилье-то я, извиняюсь, ей не рожу.

Выход вскоре найдется: Любу отправят в больницу, на сохранение. Полежит, успокоится, сдаст анализы не спеша. Провожая ее до машины. Она подставляет для поцелуя лоб, улыбается на прощание.

Я оказался прав: жить в современном вагоне вовсе не страшно. Сытно, спокойно, тепло. Вначале мешали постоянные объявления: поезд такой-то прибывает на первый путь, но привыкаешь, перестаешь замечать. Вокзал находится в центре города, все под рукой: и магазины, и прачечная, даже бассейн. Для тех, кто годами не покидал Вечности, много нового. Кто-то ходит по учреждениям, скандалит, добивается компенсации за утраченное имущество, кто-то ищет работу, знакомым звонит. Я все больше полеживаю: опять проснулась во мне жажда чтения — бесцельного, бескорыстного, снова принялся за выучивание стихов. Схожу на вокзал, позавтракаю, перекинусь несколькими словами с нашими, узнаю новости и — на койку, читать.

Наших становится меньше и меньше. Пружинка сразу исчезла: разнесся слух, что отправилась в Питер, к белозубому режиссеру, между ними возникла симпатия, когда она Лауру с ним репетировала. Анну Аркадьевну в Сыктывкар пригласили, в детский театр.

Однажды в больницу сходил, в женское отделение, потерялся, долго искал, к Любочке все равно не дали пройти — то ли у них карантин, то ли нет посещений в принципе, то ли мужчинам нельзя, все утверждали разное. Книжек, фруктов принес, воды. Сказали: передадим, а у Швальбе все хорошо, температура нормальная. И я успокоился, вернулся в вагон — читать, мечтать.

О-хо-хо, как Мир Саввич говаривал, незабвенный директор наш. Сладкими были грезы мои, и хоть знаю теперь, чем закончились, не считаю мечтание свое напрасным. Ночами — выключат верхний свет — я лежу в темноте, вспоминаю, какие мама мне пела песенки, перебираю в уме детские выражения, стишки. Как я мало знаю себя: вот, оказывается, что мне нужно-то! Обжегся на Глашеньке-немочке, с той поры и решил, что не следует рисковать. Нет, не решал ничего такого, конечно же. Просто жил, как написано на роду.

— Да что я, по-вашему, Медя какая-нибудь? — кричит она, забывая себя: не удержался, поделился с Любочкой соображением про «как написано на роду».

Тише, тише, здесь перегородки картонные. Хотя, чего уж теперь, — плачь, кричи, все равно.

Любочка оказалась в одном отделении с женщинами, которые собирались избавиться от беременности.

— Аборт, Александр Иванович. Это называется «сделать аборт». При чем тут жестокость? Сами туда, между прочим, пихнули меня.

Если коротко, то в какой-то из дней к женщинам прибыл батюшка, все отправились, и она заодно. Молодой. Как он туда проник?

— Наверное, Александр Иванович, к ним зараза не пристаёт. А он говорил хорошо, подготовился. Адом пугал — бабы плакали. Я не плакала: мне-то что? Я ведь так пришла, за компанию. Сижу слушаю, на него смотрю. Высокий, аккуратная борода. И он тоже на меня как-то больше, чем на других, поглядывал. Заметил, что я не больно-то удручена. Спрашивает: ты, мол, кто? Водолей, говорю. Усмехается: «По профессии». Артистка драматического театра. Головой покачал: «Легкой жизни хотела. Вон, посмотри, как другие девчонки живут». Вы к чему это? «А к тому, что лицедеи вообще не спасутся. Знаешь, как в старину называли театр? Позорище. Не напрасно вашего брата-артиста за оградой положено хоронить, рядом с самоубийцами». Спрашиваю: может, рано еще меня хоронить? А, святой отец? «Я тебе, — отвечает, — не святой отец». Ну, тем более. Отворачивается от меня: «Простите, дорогие сестры, что разговор ушел несколько в сторону», — и продолжает про муки вечные и про скрежет зубов. На меня уже — никакого внимания. Бабы реву-ут. Думаю: удалась лекция, то-то они нарожают ребят. Остановился, и как они начали! «У меня квартиры нет!», «А я попала под сокращение», «Знаете, какие очереди в детский сад?», «У меня свекровь — ага, вы не жили с ней!» Одна безработная, другая без крыши над головой, у третьей муж пьяница. Батюшка выслушал их внимательно: «Раньше думать надо было». И ушел.

Женщины тоже пошли и сделали этот самый аборт. Все до одной. И Любочка.

— Александр Иванович, — улыбается мне через слезы. — А поп, между прочим, окает. Помните?

Еще бы — «Юдоль».

Хотела насолить священнику, да?

— Как вы не понимаете! Он же прав, прав! Раньше думать надо было.

О чем? Вот моя мама: меня родила, вырастила, одна. Тоже не самые были благоприятные обстоятельства.

— И толку-то? Что мы есть, что нас нет! Ни семьи, ни жилья, ни профессии!

Собирался сказать, что она мне и есть семья, но зачем набиваться в родственники? Ты, говорю, артистка. Смотри, сколько переиграла всего. Любой театр тебе будет рад. А у меня пенсия. И даже какие-то сбережения, небольшие, конечно, но есть. Я и работать бы мог, учителем.

Плачет, мечется, бедная:

— Александр Иванович, родной, простите, простите меня.

Даже не знаю, сколько прошло. Неделя, две? Любочку вижу только эпизодически. Возвращаюсь однажды к себе после завтрака: на перроне — она. Спрашиваю: ты куда направляешься?

— Я всегда теперь буду отчет вам давать, да?

Доброе у Любочки сердце: заметила, как я огорчился ее ответом, с собой позвала, она теперь ходит в бассейн.

Я не плаваю, не умею, но постоял, посмотрел. Не особенно и разглядишь, что там делается: май, круглые сутки светло, а температура воздуха отрицательная, над водой пар. И как Близнец ее в этом супчике выловил?

Через несколько дней Люба приходит ко мне:

— Поздравьте, Александр Иванович. Я человека встретила. Переселяюсь к нему. Чувствую: тут получится.

Кто он? Что делает?

— Ничего интересного, инженер. Он Близнец, понимаете? Близнецов у меня еще не было. Овны всё да Стрельцы. Мы поженимся и уедем в Америку.

Поздравил, конечно. Счастья ей пожелал. Люба снова развеселилась, это самое главное, и шляпа какая-то новая у нее.

Поговорили и о делах:

— Не забудьте, пожалуйста, Александр Иванович, мы послезавтра с вами встречаемся. Органы социальной защиты плачут уже по нам.

В который раз прихожу в эти самые органы, да как-то впустию все.

— Не вникайте, с паршивой овцы... — Любочке вместо квартиры выдали компенсацию, сказали: по кадастровой стоимости. Что это значит, пытаюсь понять.

— А вам, — говорят (то есть мне), — уважаемый, не положена компенсация, поскольку в Вечности вы были прописаны временно. Мы и тем, у кого квартира служебная, не даем. Только собственникам.

Любочка начинает сердиться, кричать:

— А вы говорите, Александр Иванович: рожай! — Поворачивается к публике, передразнивает: — «Уважаемый». Да вы все мизинца не стоите этого человека, — указывает на меня.

Прячу руки в карманы пальто, Любочка мне потом этот жест припомнила. Публика — очередь, и работницы — удивлена: вот же, неймется ей.

— Вам больше всех надо, женщина?

Возникает также вопрос: Швальбе — что за фамилия?

Ох, и обернулась же Любочка, и взглянула же: Иокаста, Гертруда, Елизавета Английская! Ей для азарта и нужно — всего ничего. Успокойся, шепчу, пойдём.

Подключается хор:

— Пойдите, а это не та ли самая, из-за которой артиста в тюрьму упекли? Помните, майора играл, лысого, по телевизору.

Вцепился Любочке в руку, тащу ее к выходу. Прошу тебя, не шуми, не надо историй, не надо мне ничего. Нам ли быть недовольными? У самих ведь рыльце в пушку.

Выходим на улицу:

— Что вы там говорили про рыльце в пушку? Проснитесь, Александр Иванович! Вечность закрыли не оттого, что мы что-то там ставили, или я одновременно с мужем спала и со Славочкой — кстати, чтобы одновременно, такого не было, — или оттого, что Губарев его застрелил. Сами говорили: правда нужна. Вот вам правда. Это отношение, политика!

Наверное, ей Близнец про политику объяснил.

— Не только отдельные города, целые страны скукоживаются. Но в Америке — там не так. Там большое счастье, если, допустим, дорогу у тебя через дом протягивают.

Да? Почему это? Поглядели мы с Любочкой друг на друга, и как начали хотать! У них там, что ли, не по кадастровой стоимости? Покатываемся со смеху, повторяем одно и то же на все лады, люди выходят из учреждения, думают: вот ненормальные. Любочка отсмеялась раньше, чем я:

— Возвращайтесь к себе, а я в тюрьму загляну. Надо развестись с одним уголовником, пока общественность за меня не взялась.

Лето. Все себе уже подыскали что-нибудь. Я один остался, забыли меня. Тут вдруг вспомнили:

— Давай оформляться в дом престарелых, дедуль.

Любочка, когда я сказал ей, фыркнула:

— Вот еще! Пойдемте в агентство, домик подыщем вам. Где вы хотели бы жить?

Долго выбирали между вариантами. Очень она помогла. Ко всему и денег добавила:

— Берите, берите, не заставляйте себя уговаривать.

За что мне такая награда? Поблагодарил ее, взял.

— Александр Иванович, является ли судьба частью личности?

Вот так вопрос! Любочка мне его задала прошлой осенью, перед нашим с ней расставанием. Где же ты прежде была?

— А разве вы прежде знали бы, что ответить мне?

И ЛЕГКА, ЛЕГКА...

Поселился в итоге в Тарусе. Еще неплохой был вариант — Гудауты, но в моем возрасте опасны резкие перемены климата. Хотя дело, сказать по правде, не в климате. «И легка, легка под мостом Мирабо Ока...» Моста Мирабо и в помине нет, никакого нету моста. В Тарусе есть что любить и без этого.

Много гуляю, красота здесь просто невероятная. Подружился с местным писателем, Макеевым Владиленом Ниловичем, я уже упоминал о нем.

— А вы вообще, что ли, Александр Иванович, не выбираете, с кем дружить? — спросила меня однажды Любочка.

Не знаю, моя хорошая, похоже, что ты права: с кем свела судьба — с тем и поддерживай отношения, так мне кажется. Тем более что в биографиях у нас с Макеевым, как выясняется, много схожего. Почти ровесники, и у обоих отцов репрессировали. У Владилена Ниловича, правда, отец большим начальником был, а мой и всего-то — трамвайным кондуктором.

Одно только: любит Макеев пожаловаться. По мне — пускай, разумеется, выговорится человек, если ему легче от этого, лишь бы еще больше не распался, не заводил себя.

— Опять я в нынешнем премиальном сезоне мимо всего пролетел. Жидам потому что одним дают премии. Жиды дают жидам премии. Вот и весь литературный процесс.

Смотрите, пытаюсь ему сказать, Владилен Нилович, кругом-то как хорошо! Наверное, скоро сирень распустится, жду не дождусь. Знаете, сколько лет я сирени живой не видал?

— Русская весна, называется. Весна русская, а кому премии?

Нет, определенно, я правильно поступил, что не стал писателем. А ведь были мысли. Показываю: глядите, это что такое, ольха? Сама растет, ни сажать не приходится, ни ухаживать. Радуюсь таким мелочам, не привыкну никак после севера. Чудо ведь!

— Чудо, да... Я люблю нашу русскую природу. И все-таки не мешало бы хоть разочек еще прогреметь.

Когда позволяет погода, иду гулять, в одиночку или с Макеевым, в остальное время в библиотеке сижу. Открывается она ранним утром, закрывается в семь. Кое-какое отставание уже ликвидировал, но мне, конечно, читать еще и читать.

Опять я неплохо устроился, но дома стараюсь бывать поменьше: не хочется раздражать Антонину Федоровну. Она и Михаил Степанович — мои соседи, у меня с ними стенка общая, общий двор. И участок тоже напололам, но я сразу их попросил моей половиной пользоваться — какой из меня садовод? Когда в свое время родня их делила дом, то чем-то соседей моих обидели, не знаю подробностей. С Михаилом Степановичем проще — он, например, однажды хотел мне помочь, когда была моя очередь лед убирать: я и так, и сяк его, а он все не колется. Михаил Степанович посмотрел на мои мучения, научил, как ловчее держать скребок, чтобы лед подковыривать.

— Я бы сам, если б не... — на окно кивнул.

Антонину Федоровну, жену свою, называет «мамуленькой». Честно признаться, я поначалу решил, что она ему мать. Вот это было бы — да!.. Глубоко в меня въелись греческие трагедии! По чистой случайности сумел при себе удержать. Положение и без того, прямо скажем, безрадостное: впервые образовалось собственное жилье, и никак не могу я с ним совладать — театр меня совершенно избаловал. Вещи в пошивочный цех отнесешь: и погладят, и пуговицу пришьют, а то и обновку себе подберешь. Подстричься — тоже не было трудностей: Анята-гримерша, Нюта, всегда на пальцы себе поплюет перед тем, как укладывать волосы, мы смеялись над этой ее привычкой. А что говорить про еду, про то, чтобы пол помыть, мусор выбросить, оплатить электричество... Не сталкивался я прежде ни с чем таким, жил без забот, не выходил из театра неделями.

Ладно, стирать и готовить — как-нибудь научусь, а вот что Любочка не пишет мне, — это скверно. На почту заглядываю каждые несколько дней — не пришло ли чего до востребования.

Причины для беспокойства у всех свои. С Макеевым мы часто разговариваем о его творчестве.

— Поскольку роман мой носит характер документально-патриотический, то не стоит ли мне его переименовать? В свете недавних событий. «Корсунь», как вы считаете?

«Ни сном ни духом» мне тоже нравилось. Хотя, по совести говоря...

— Говоря по совести, вы, дорогой Александр Иванович, так и не изыскали возможности ознакомиться с тем, что я написал. Художника обидеть легко. Шучу.

Ох, да знаю я. Принимаюсь рассказывать Макееву про злоключения с очками. Не собирался ему говорить, мало ли что случается, но он ведь торопит меня.

Неприятность: очки пропали. Все перерыл — нигде нет. Ни читать, ни писать без них. Даже еда становится менее вкусной, когда не видишь, что ешь. И ведь не такой я обеспеченный человек, чтобы чуть что новые очки заказывать. Вдруг заходит сосед, Михаил Степанович, приносит очки. Бросаюсь благодарить — где нашли? — а он их, представьте, просто забрал. Зашел и взял, пока меня дома не было.

— Думал, — говорит, — подойдут — нет, не подходят мне, слишком сильные. Макеев послушал:

— Не знаю, что там на севере, а в средней полосе дверь положено запирать. Но теперь-то вам ничто уже не мешает прочесть мой роман? Конечно, прочту, обещал.

И прочел бы, прочел немедленно, если б снова Вечность мне про себя не напомнила. Вот уж с какой стороны не ждал новостей! А ведь подумать: если бы не Макеев, то я, вероятно, и не узнал бы, чем история моего театра закончилась.

Было так. Встречаемся мы на нашем обычном месте: в скверике возле администрации, над рекой. Владилен Нилович, как правило, опаздывает слегка, а тут даже раньше пришел. И выражение лица у него какое-то необычное, хитрое:

— У меня сюрприз для вас, дорогой Александр Иванович. — Вытаскивает газету из внутреннего кармана плаща, но держит в руке, мне пока что не отдает. — Забираю я, значит, газету из ящика, принимаюсь за чтение. На первой полосе большой материал о том, какая замечательная техника находится на нашем вооружении. И про то, что Верховный главнокомандующий — лично, сам — принимает участие в ее испытании. Стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности вам о чем-нибудь говорит? Пилоты называют его «Белым лебедем».

Стоит Владилен Нилович посреди скверика и с увлечением рассказывает про разные штуки, которые летают по воздуху, могу перепутать — сам-то я никогда не летал, только поездом да автобусом.

— Дозаправка в воздухе... Четыре ракеты! — восклицает Макеев. — Все в цель! И тут... Попрошу внимания. И тут, Александр Иванович, я смотрю на подпись под фотографией. Позвольте, минуточку, спрашиваю я себя: а не малая ли это родина нашего Александра Ивановича? Так и есть: пгт Вечность! Вот, — протягивает мне газету, — убедитесь сами! Она!

Не помню, как взял газету, как на скамейку сел. Спасибо Макееву: подхватил, без него бы я точно грохнулся. Мой театр, я узнал его. Где гримерки женские — ничего, дыра. Огромная, рваная. Сюда одна из ракет вошла. Справа через этаж — мое окно. Стекол нет, чернота. Вот карниз, по которому Славочка залезал к себе, чтоб не будить вахтерш. Урна — цела ли? Где уж ей... Слезы у меня прямо брызнули. Какое там чтение — я и картинки разглядеть не могу.

Господи, это кто стоит с железяками — не Захар ли наш? Улыбается во весь рот. Никогда он не был худым, но точно ли?.. Да, написано: глава Северогорского района Захар Губарев. И скоро же его выпустили! Вот он, во всей красе — наш Стрелец, Командор.

Несчастный Макеев салфетки сует. Бормочу: простите меня, Владилен Нилович.

— Александр Иванович, никто ведь не пострадал...

Конечно, конечно же. Не обращайтесь внимания...

Посидели, я чуть успокоился, только слезы текут и текут. Макеев поближе ко мне подвигается, руку кладет на плечо:

— Знаете, кто у нас Верховный главнокомандующий?

Ну да. Не настолько же...

— Настоящую фамилию его знаете? — Оглядывается: — Ценципер. Ценципер его фамилия.

От удивления у меня даже слезы высохли. Да вам-то, спрашиваю, это откуда известно?

— Все говорят.

Никуда я в тот день не пошел. Извинился перед Макеевым, спустился ближе к воде, читал. Всю газету прочел: много такого, о чем я прежде не знал. Да, события нешуточные, и что тут мы со своими маленькими огорчениями?

Никак не решался опять смотреть фотографии: газету так выворачивал и смяк, чтобы они не попались мне. Потом посмотрел — и уже без слез. Вдруг легко сделалось: все, история завершена, не о чем беспокоиться. Стукнула нас напоследок судьба четырьмя попаданиями, никого не убила, можно сказать — улыбнулась нам, помахала крылом. Теперь опасаться нечего. И Славочке такой бы финал понравился: бах! — и разлететься по ветру. И у Любочки будет все хорошо.

И — невозможно поверить! — буквально на следующий день — письмо. Вот оно опять — провидение! Как же не думать, что жизнь моя где-то написана? Пусть не письмо, открыточка: «Александр Иванович, мы сегодня ездили на океан, китов смотреть, потом я заснула прямо в машине, а во сне вас видела, вернее, какого-то человека, который сказал, что вас больше нет. Я рыдала горько, проснулась».

Теперь у меня Любочкин адрес есть. Телеграмму отправил всего в одно слово: «Жив». На почте смеются: никто не шлет в наши дни телеграмм, а если шлют, то противоположного содержания. Подробно ей потом про все напишу.

С того времени он и сниться мне перестал. Театр перестал сниться и вместе с ним Вечность. А в отношении главнокомандующих — мы о них и не думали никогда. Только однажды: длинный спектакль, потом засиделись за полночь. Любочка вдруг, так жалобно-жалобно:

— Хоть бы на нас кто-нибудь обратил внимание. Как мы работаем, мучимся.

Губарев — через стол:

— Да кто на тебя должен внимание обратить? Президент?

— Хоть бы и президент. Я бы ему, — и выпила-то всего рюмочку, — родила наследника.

Губарев кулаком по столу — бах!

— Кого ты, дура, рожать собралась? НАТО уже у ворот!

Нет, Губарев не такой был, как мы, — следил за событиями.

Макеев за ними тоже следит. Прошел еще один месяц. Гуляем, я останавливаюсь как будто по сторонам посмотреть или потрогать веточку, а, если честно, перевести дыхание, оно у меня стало сбиваться слегка.

— Слышали новости? — Макеев смеется: — На этот раз никаких сюрпризов, Александр Иванович.

Вы же знаете, отвечаю, я газет не выписываю, телевизора не смотрю. Иногда долетает что-нибудь из-за стенки от Крутовых, но это не в счет. Вы у меня, Владилен Нилович, вместо радио с телевизором.

Кивает:

— А мы за последние дни серьезно продвинулись. Укрепили позиции. Хорошенький соорудили котел! Здорово наподдали им! — Даже не так: — Нахрячили по это самое!

Посвежел Макеев, порозовел, глаза горят — залюбуешься! Очень такие события действуют омолаживающе на некоторых стариков. «Бог даст войну, готов, кряхтя...» Вот и Владилен Нилович:

— Руки чешутся. Я когда служил срочную, про меня говорили: пулеметчик от Бога. Отличник огневой подготовки сержант Макеев. Напомните, покажу фотографии. Полное слияние с инструментом. Вы-то служили, Александр Иванович?

Нет, не пришлось. Мы, Владилен Нилович, люди в возрасте, а вот Сергея, внука вашего, не ждете, спрашиваю, что призовут?

— Нет, Сережка в Германии, вместе со своей матерью. Учится.

Помолчал немного, а потом говорит:

— Я знаете что для себя решил? Если опять мимо всего пролечу с романом моим, то тоже махну в Германию. По крайней мере обслуживание медицинское у них нормальное, не то что у нас — не допросишься. Все продам, пока цены не рухнули к такой-то матери. Ах, вы же у нас не любите русских слов!

Да чего уж там. Мало ли какое может быть настроение.

— Понимаю, о чем вы подумали, Александр Иванович. Да только ужасно не хочется помирать. Будто в гостях живешь, у хозяев планы: завтра они в кино, после — еще куда-нибудь, а тебе — отбывать, понимаете?

Вам, спрашиваю, нездоровится?

— Нет, — отвечает, — ничего такого пока. Тьфу-тьфу.

Догуляли до нашего места — до переправы через ручей. Мы тут обычно прощаемся. Он неожиданно спрашивает:

— Что с нами будет? Вы-то сами, Александр Иванович, как думаете?

Не знаю, что и ответить. Надо же доверять...

— Чему — доверять? Газет не читаете, новостей не слушаете.

Нет, я другое имел в виду. Не умею сказать. Где-то знают, как лучше мне. Вот это, наверное.

И сирень давным-давно отцвела, и дни стоят очень теплые, а мне невозможно стало гулять с Макеевым: останавливаюсь поминутно, каждый пригорок дается с трудом. Зато все больше хожу на кладбище, старое, от меня оно в двух шагах. Малоллюдно тут, тихо, зелено. Пройду по рядам, почитаю надписи: фамилию, чтобы напоминала мамину, поищу. Город древний, народу много здесь похоронено, найти легко. Или просто: увижу плиту со стершейся надписью, вспоминаю, стихотворение прочту.

Невеселое место дом престарелых, но пора мне уже приглядеться к нему. Хорошо, что прямо тут, в городе, есть такой дом.

— Ветеранов, — поправляет меня директор, совсем молодой человек, еще нет сорока. — Мы называем себя ветеранами. Неизвестно чего!

Страшно смешлив:

— На нашей работе не будешь смеяться — сойдешь с ума.

Побежал за ним по лестницам, нелегко мне это далось, но, кажется, не сплывал, выдержал.

— На этом этаже у нас, — показывает, — номера. — Вы один, Александр Иванович, или с супругой? Подыщем вам соседа поинтереснее. Или соседку? — подмигивает. — Толкнемся-ка вот сюда.

Разве можно? Там люди живут.

— У нас тут без церемоний, — отворяет дверь в чью-то комнату.

Не надо, я посмотрел. А внизу?

— Слабёжка. Для больных, для ослабленных. Туда не пойдем. Есть и такой контингент, проблемный, что через день приходится вызывать полицию. Зубы друг у друга воруют, куда это?! Челюсти! Дедовщина, доложу вам, не хуже, чем в армии. Важно сразу поставить себя.

Вместе сходили на пищеблок, пробу сняли, мне очень понравилось, давно я не ел горячего. Идем к директору в кабинет. Вдруг он меня подхватывает под локоток.

— У меня предложение, от которого нельзя отказаться. — Обнимает за плечи, не помню уже, кто меня так обнимал. — Давайте на нашей базе соорудим театр.

Театр? Я даже закашлялся. Откуда ему известно мое театральное прошлое?

— Разведка. Шучу.

Показывает газету «Октябрь». Коротенькая, на четверть страницы, заметка: «Родом из Вечности», Макеев В. Н.

— От нас сейчас требуют художественную самодеятельность. Поездим по области, а там — чем черт не шутит? — получим губернаторский грант. Давайте, оформляйтесь по-быстрому. Поместим вас в люк.

Начинаю смеяться и не могу остановить смех. Чего доброго, директор подумает, что я припадочный. Какой мы можем сделать театр? Теней? Или мы не тени еще? Еще тени отбрасываем? Или нет?

— Почему теней? — теперь уже он удивляется. — Нормальный театр. Нормальные представления, комедии. Позитив. Старость не радость, Александр Иванович.

Все смеюсь, не могу прекратить. Директор со мной прощается вовсе не так приветливо, как встречал. И то, сколько времени он на меня израсходовал.

Выхожу от него с бумагами. Возвращаться к себе я предполагаю кружным путем. Во-первых, лишний повод по сторонам поглядеть, покуда светло, а во-вторых, короткая дорога пролегает через овраг. А с оврагом мне сегодня не справиться. Эх, лишь бы сразу в слабёжку не угодить! Прижиться можно везде, но в слабёжку не хочется. Ничего, не так я и плох, расхожусь. Вот что, переведу-ка я дух, посижу на скамеечке.

К дверям подтягивается народ, ветераны: восемнадцать ноль-ноль, пора ужинать. Наблюдаю через стекло, как те, кто станут моими товарищами, заходят в столовую, рассаживаются по местам. Надо и мне идти. Вроде, дождь собирается, документы б не намочить. Рискну-ка — через овраг, не такой там и длинный подъем. Что с нами будет? — Чего ж непонятного? В войну родились, в войну и умрем.

Заметил: всю свою жизнь, пока смерть была далеко, я о ней не то что все время, однако нет-нет, а подумывал. Зато теперь совершенно, кажется, позабыл. Иногда только оглянусь — не на прошлое, а на то, что есть, — посмотрю кругом: как же я буду скучать по всему по этому! По полям, по далям на той стороне Оки. «И легка, легка...» За лесами — башни, огни, настоящий город, но туда — нет, не хочется. Вечером — дождусь, пока загорятся бакены, вдохну воздуха, на темное небо взгляну. Не особенно многое видел и знал, а не хватать будет многого. Не только деревьев, реки. Хлопьев снега в свете прожектора. Стихов — в первую очередь. Можно ли будет их с собой прихватить? Вспомню опять об Урале, о Любочке, Славе, о Вечности.

«А далеко на севере, в Париже...» Так и не побывал. Но никаких, честное слово, ни малейших причин расстраиваться. Разве меня кто-нибудь силой держал? Ведь был приоткрыт мне кусочек мира, мой собственный! И довольно надолго, если не привередничать, был приоткрыт. А каких событий я был свидетелем!

Вот так: постою, подумаю, пока не станет холодно и темно. И к себе пойду. На горе Арарат растет крупный виноград.